

Записки Мальте Лауридса Бригге

1

11 сентября, rue Toullier¹

Итак, люди сюда устремляются, чтобы жить, я бы скорее предположил — чтобы здесь умереть. Я вышел на улицу. Видел: больницы, больницы. Видел человека: он вдруг зашатался и упал. Люди столпились вокруг него, не знаю, чем все закончилось. Видел беременную женщину. Она тяжело передвигалась вдоль высокой теплой стены и перебирала иногда по ней руками, как бы желая убедиться, что она, стена, еще стоит. Да, стена еще стояла. А что за ней? Поискал на моем плане города: Maison d'Accouchement². Хорошо. Ее разрешат от бремени — это могут. Дальше — rue Saint-Jacques³, громадное здание с куполом. На плане обозначено: Val-de-grâce, Hôpital militaire⁴. Мне, собственно, это знать ни к чему, но — на всякий случай. В переулок со всех сторон тянулись запахи. Пахло, насколько можно различить, йодоформом, пригаром жареного картофеля, страхом. Все города летом пахнут. Потом я увидел странный, с катарактными окнами дом; на плане не мог его найти, но над дверью еще можно было разо-

¹ Улица Тулье в Латинском квартале Парижа, где Рильке поселился в гостинице в 1902 г. — *Здесь и далее — примеч. перев.*

² Родильный дом (фр.).

³ Улица Сен-Жак в Латинском квартале.

⁴ Букв.: «Долина милосердия» (фр.) — монастырь и военный госпиталь.

братъ: Asyle de nuit¹. При входе указаны цены. Прикинул: недорого.

А еще что? Ребенок в детской коляске: толстый, зеленоватый, с отчетливой сыпью на лбу. По-видимому, она уже подживала и не причиняла боли. Ребенок спал, рот был открыт, дыша йодоформом, пригаром жареного картофеля и страхом. Таким все представилось. Главное — выжить. И это — главное.

Никак не отвыкну спать при открытом окне. Трамваи, звеня, проносятся сквозь мою комнату. Автомобили проезжают через меня. Хлопает дверь. Где-то падает, разбиваясь, стекло. Я слышу, как большие осколки заливаются смехом, мелкая дребезга хихикает. Потом — и вдруг — глухой, замкнутый шум с другой стороны, внутри дома. Кто-то поднимается по лестнице. Все ближе и ближе, не останавливаясь. Он уже тут, долго стоит — и идет дальше. И снова — улица. Девушка кричит, надрываясь: «Ah, tais-toi, je ne veux plus»². Трамвай взволнованно обо что-то с разбега ударяется, переезжает через, и дальше — через все. Кто-то кого-то зовет. Люди бегут, обгоняя друг друга. Лает собака. Какое все-таки облегчение — собака. Под утро даже кукарекает петух, и это — отрада без границ. И я — вдруг — засыпаю.

Это — шумы. Но здесь есть и то, что, может быть, страшнее: тишина. Я думаю, при больших пожарах иногда наступает такой момент самого крайнего напряжения, водяные струи спадают, пожарные больше не карабкаются, никто не шевельнется. Сверху беззвучно сдвигается черный карниз, и высокая стена, позади которой полыхает

¹ Ночной приют, ночлежка (фр.).

² Да замолчи ты, с меня хватит (фр.).

огонь, наклоняется — беззвучно. Все стоит и ждет с высоко поднятыми плечами, сморщив над глазами лбы, — ждет страшного удара. Такая здесь тишина.

Я учусь видеть. Не знаю, как это получается; все входит в меня глубже и не застревает на том месте, где раньше всегда и заканчивалось. Есть нечто внутри меня скрытое, и о нем я ничего не знал. Теперь все уходит туда. Я не знаю, что происходит там.

Сегодня писал письмо, и мне показалось странным, что я нахожусь здесь всего-навсего три недели. Три недели где-нибудь, например в деревне, могли бы промелькнуть как один день, здесь это — годы. Не хочу больше писать никаких писем. Зачем мне кому-то говорить, что я изменяюсь? Если изменяюсь, я не остаюсь тем же, кем был, и хоть немного, но уже другой, чем до сих пор; выходит, что у меня уже нет никого, кто меня знал бы, а чужим людям, которые меня не знают, я писать не в состоянии.

Говорил ли я уже об этом? Я учусь видеть. Да, начинаю. Это еще плохо получается. Но я хочу мое время заставить работать на себя.

Например, до моего сознания никогда не доходило, как много бывает лиц. Людей масса, но лиц еще больше, так как у каждого человека по нескольку лиц. Есть люди, которые годами носят одно и то же лицо, конечно, оно изнашивается, пачкается, протирается на складках, оно растягивается, как перчатки за время долгого путешествия. Это экономные, простые люди; они свое лицо не меняют, они его даже не подновляют. Оно достаточно хорошее, утверждают они, и кто может им доказать противоположное? Теперь спросите-ка себя: раз у каждого по нескольку лиц, что они делают с остальными? Они их приберегают.

Пригодятся, мол, когда придет срок, детям. Но бывает и так, что с ними выходят гулять их собственные собаки. А почему бы и нет? Лицо есть лицо.

Иные люди до неприятного быстро меняют свои лица, одно за другим, и быстро изнашивают их. Сначала им кажется, что лиц им хватит на всю жизнь, но им едва стукнуло сорок, а они уже донашивают последнее. В этом, естественно, свой трагизм. Они, эти люди, не привыкли беречь свои лица; последнее лицо через восемь дней протирается тут и там до дыр, во многих местах уже тонкое, как бумага, и тогда мало-помалу обнаруживается подкладка, не-лицо, — и они так и расхаживают.

Но эта женщина, эта женщина: она совсем запала в себя, уткнувшись в свои ладони. Это случилось на углу rue Notre-Dame-des-Champs¹. Я замедлил шаги, как только ее увидел. Когда бедные люди размышляют, им не надо мешать. Может быть, их все же осенит.

Улица была совсем пуста, ее пустота от скуки выхватывала у меня из-под ног шаги и постукивала ими вокруг, на той стороне и здесь, — как деревянными башмаками. Женщина испугалась и рванулась из себя — слишком быстро, слишком резко, так, что лицо осталась у нее в ладонях. Оно лежало там, я видел, — полой изнанкой наружу. Мне стоило неописуемых усилий оставаться возле этих рук и не взглянуть на то, что из них вырвалось. Мне было страшно видеть лицо изнутри, но еще больше меня пугала оголенная и похожая на рану голова без лица.

Мне страшно. Со страхом нужно что-то делать, если уж однажды он возник. Было бы очень скверно, если я здесь заболел и кому-нибудь придет в голову поместить

¹ Улица Нотр-Дам де Шан в центре Парижа, рядом с Люксембургским садом.

меня в Hôtel-Dieu¹: там я уж точно помру. Этот Hôtel, комфортабельней некуда Hôtel, чудовишно неведанный. Едва ли можно заглядеться на фасад кафедрального собора Парижа, не опасаясь, что тебя переедет повозка, одна из тех многих, что на большой скорости проносятся в лечебницу по свободной площади. Это небольшие omnibusy, они непрерывно названивают, и даже самому герцогу Саганскому² пришлось бы попридержать свой экипаж, если какому-то третьестепенному умирающему взбредет в голову проехать в Hôtel-Dieu по прямой. Умирающие самодуры, и весь Париж запинается, когда мадам Легран, brocanteuse³ с rue de Martyrs⁴, прибывает, следуя по неминуемой площади острова Cité⁵. Следует заметить, что у этих чертовски маленьких повозок необычайно возбуждающие окна из мутного стекла, и за ними можно представлять самые великолепные агонии; для этого достаточно фантазии консьержки. Если же воображения еще больше и его пустить по другим направлениям, то предположения и догадки прямо-таки безграничны. Но я видел, как, досаждая, прибывают и открытые дрожки, повременные дрожки с откинутым верхом; они возят по обычной таксе: два франка за покойнический час.

¹ Букв.: «Приют Господень» (фр.) — парижская больница возле кафедрального собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), построенная в 1868—1878 гг. на месте старейшей в Европе лечебницы VII в.

² Альбрехт Венцель Эйсебиус фон Валленштейн (1583—1634), герцог Фридланда, Сагана и Мекленбурга, немецкий генерал и государственный деятель; командующий одной из крупнейших императорских армий в Тридцатилетней войне. Герой драмы Шиллера «Валленштейн».

³ Старьевщица (фр.).

⁴ Улица Мартир (букв. «улица Мучеников», фр.).

⁵ Cité — один из двух островов на реке Сене, исторический центр Парижа.

Этот образцовый Hôtel очень стар, уже во времена короля Хлодвига¹ там умирали на нескольких лежаках. Теперь умирают на 559 кроватях. Естественно, по фабричному методу. При таком чрезмерном производстве каждая отдельная смерть отделяется уже не столь филигранно, но на это никто не досадует. Массовую смерть обрабатывает массивный молоток скульптора. Кто сегодня еще платит за филигранно выполненную смерть? Никто. Даже богатые, которые могли бы заплатить за обстоятельное умирание, даже они становятся небрежными и безразличными; пожелание иметь свою собственную смерть встречается все реже и реже. Еще недолго, и собственная смерть будет такой же редкой, как собственная жизнь. Боже, это все здесь, на земле. Приходишь, используешь жизнь, готовую, только влезай и носи. Уходишь сам, или тебя к этому принуждают — и тут никаких тебе стараний и потуг: *Voilà votre mort, monsieur*². Умирают как попало; умирают смертью, какая полагается болезни, которую сам же и заимел (поскольку изучены все болезни, то понятно, что разнообразные летальные исходы полагаются болезням, а не людям; и больному, так сказать, нечего делать).

В санаториях, где умирают так охотно и с такой благодарностью к врачам и сестрам, умираешь одной из смертей, освоенной в данном учреждении; так уж заведено. Если же умираешь дома, то, естественно, выбираешь учтивую смерть элитного круга, и с нее, соответственно, уже начинаются похороны по высшему классу со всей последовательностью чарующих обрядов. Тогда бедные стоят перед таким домом и могут досыта насмотреться. Их собственная смерть, естественно, банальна, без всяких подробностей и

¹ Хлодвиг (ок. 466–511) — основатель Франкского королевства.

² Вот ваша смерть, сударь (*фр.*).

хлопот. Они уже рады, если она окажется мало-мальски по мерке. Она может оказаться и слишком большого размера; но покойник всегда еще чуточку вырастает. Только если она не сходится на груди или жмет, то это уже его беда.

Когда вспоминаю свой дом, где теперь никого уже нет, я думаю, что раньше все происходило по-другому. Раньше знали (или, может быть, догадывались), что смерть носят *в себе*, как плод — семечко. Дети — маленькую смерть, а взрослые — большую. У женщин она в лоне, у мужчин — в груди. Она, смерть, *была* у всех, и это каждому придавало своеобразное достоинство и тихую гордость.

Еще по моему деду, старому камергеру Бригге, было видно, что он носил свою смерть в себе. И что она предназначалась для него одного: в два месяца длиной и такая громкая, что ее слышали даже в фольварке, на хуторе.

Длинный старый господский дом стал слишком мал для этой смерти; казалось, к нему нужно пристраивать флигели, так как туловище камергера становилось все больше, и он беспрестанно требовал, чтобы его переносили из одного помещения в другое, и впал в страшный гнев, когда день еще не кончился, а уже больше не было ни одной комнаты, где бы он еще не лежал. И тогда вся свита из лакеев, служанок и собак, которых он всегда держал при себе, поднялась под предводительством дворецкого по лестнице наверх, в комнату, где некогда скончалась его блаженной памяти матушка, — в комнату, что пребывала в том же самом состоянии, в каком она ее оставила двадцать три года назад, сохраненную, и, кроме того, куда никому не позволялось входить. И теперь вся ватага ввалилась туда. Шторы раздвинули, и грубоватый свет летнего предвечерья ощупывал все эти робкие, испуганные предметы и неумело вертелся в расчехленных зеркалах. И люди поступали точно так же. Тут собрались камеристки, и они

от любопытства не знали, куда девать руки, молодые слуги, и они на все пялились, и старые челядинцы — они ходили кругами и старались вспомнить, что им рассказывали об этой закрытой на ключ комнате, где они теперь столь счастливо оказались.

Однако пребывание в помещении, где у каждой вещи имелся свой запах, необычайно возбуждающе действовало прежде всего на собак. Большие узкие русские борзые бегали позади кресел туда-сюда, длинным танцующим шагом, покачиваясь всем телом, пересекали комнату, вставали на задние лапы, как собаки на гербах, и, опираясь узкими лапами на бело-золотые подоконники и вертя острыми напряженными мордами с убегающими назад лбами, поглядывали вправо и влево, во двор. Маленькие, желтые, как перчатки, таксы, как бы показывая, что все в порядке, сидели в широком шелковом мягком кресле у окна, а жесткошерстная, устрашающего вида легавая чесала свою спину о край стола с позолоченными ножками, и на расписной столешнице дрожали чашки из севрского фарфора.

Да, для растерянных, заспанных вещей наступило ужасное время. Случалось, что из книг, когда их неловко открывала чья-то торопливая рука, выпадали лепестки роз — и затапывались; хватали мелкие хрупкие предметы, и после того, как они тотчас же ломались, их опять ставили на место, а некоторые из них, погнутые, тут же прятали под шторы или даже бросали за позолоченную сетку каминной решетки. И время от времени что-то падало; падало, завернутое, на ковер, падало, блестя, на твердый паркет, но и там, и там разбивалось, с резким звуком разлетаясь на осколки или почти беззвучно ломаясь, поскольку эти вещи, избалованные, какими они были, не переносили никакого падения.

И если бы кому-нибудь пришло в голову спросить, что стало причиной всего этого, кто затребовал полной гибели этой опасно охраняемой комнаты, то нашелся бы только *один* ответ: смерть. Смерть камергера Кристофа

Детлева Бригге из Ульсгарда. Потому как он лежал, огромный, выпирая из своей темно-синей униформы, посредине на полу и не шевелился. На его огромном, чужом, никому уже не знакомом лице закрылись глаза: он не видел, что происходило вокруг. Сначала пробовали положить его на кровать, но он этому воспротивился, поскольку он возненавидел кровати с тех первых ночей, когда его болезнь пошла в рост. Кроме того, кровать там, наверху, оказалась слишком маленькой, и тогда ничего не оставалось, как положить его так, на ковер; потому что он не захотел, чтобы его спустили вниз.

И теперь он лежал там, и можно было подумать, что он умер. Собаки, когда стало медленно смеркаться, одна за другой потянулись в дверную щель, только жесткошерстная с устрашающей мордой легавая сидела около своего хозяина, и ее широкая лохматая передняя лапа покоилась на руке Кристофа Детлева, огромной и серой. Большинство прислуги теперь толпилось за дверью, в белом коридоре, где было посветлей, чем в комнате; но те, кто еще оставался, иногда украдкой посматривали на огромную темнеющую кучу посредине, и они желали, чтобы это не было чем-то, кроме как огромным мундиром, натянутым на пришедшую в негодность вещь.

Но было нечто еще. Некий голос, и уже семь недель как его никто не узнавал: ведь это был не голос камергера. Не Кристофу Детлеву, не ему принадлежал этот голос, — голосила его, Кристофа Детлева, смерть.

Смерть Кристофа Детлева жила уже много-много дней в Ульсгарде, и говорила со всеми, и требовала. Требовала переноски, требовала голубую комнату, требовала маленький салон, требовала зал. Требовала собак, требовала, чтобы смеялись, говорили, играли и были тихими — и все одновременно. Требовала увидеться с друзьями, с женами и умершими — и сама же требовала, чтобы дали умереть: требовала. Требовала и кричала.

Потому что когда наступала ночь и переутомленная прислуга, кто не дежурил, пыталась заснуть, тогда кричала смерть Кристофа Детлева, кричала и стонала, ревела так долго и настойчиво, что собаки, которые поначалу ей подвывали, онемевали и не смели улечься и, стоя на своих длинных, стройных, дрожащих ногах, замирали от страха. И когда сквозь широкою, серебряную датскую летнюю ночь в деревне слышали, как она орала, люди вставали, как в бурю, одевались и, не говоря ни слова, сидели вокруг лампы, пока не затихало. И женщин, тех, кто на сносях, укладывали в самые отдаленные комнаты, за самые плотные пологи, но они все равно слышали это, слышали, как если бы выло в их собственных чревах, и они умоляли, чтобы им разрешили тоже встать, и приходили, белые и далекие, со стертými ликами, и подсаживались к другим. И коровы, те, что в это время телились, были беспомощны и не могли растелиться, и у одной вырвали мертвого теленка вместе со всеми внутренностями, когда он не хотел выходить. И все делали плохо свою дневную работу и забывали принести сена, потому что днем они боялись ночи, потому что от длительного бдения и от того, что всечасно в испуге вскакивали, они так утомлялись, что ничего не могли сообразить. И когда в воскресенье они шли в белую мирную церковь, они молились, чтобы в Ульсгарде не стало хозяина, потому что этот — ужасный хозяин. И то, о чем все думали и молились, громко говорил пастор с кафедры, и у него тоже больше не было никаких ночей, и он не мог уразуметь Бога. И об этом же говорил колокол, потому что испугался страшного соперника, кто всю ночь угрожал и кому, даже начини он звонить во весь металл, все равно ничего не смог бы противопоставить. Да, все это говорили, и среди молодых дворовых нашелся один, кому приснился сон, что вроде бы он пошел в замок и заколол милостивого господина своими навозными вилами, и на взводе, доведенные уже до предела, издерганные, все, кто слушал,

когда он рассказывал свой сон, сами того не осознавая, прикидывали, способен ли он в самом деле на такое деяние. Так чувствовали и говорили во всей округе, где всего лишь несколько недель тому назад любили камергера и жалели его. И хотя все так говорили, ничего от этого не менялось. Смерть Кристофа Детлева обосновалась в Ульсгарде и никому не позволяла себя торопить. Она поселилась на десять недель и эти десять недель оставалась там. И все это время она господствовала так, как не господствовал сам Кристоф Детлев Бригге, она была как царь, прозванный Грозным позднее и навсегда.

Это не была смерть от какой-нибудь водянки, это была злая княжеская смерть, и камергер носил ее в себе всю жизнь и питал из самого себя. Весь избыток гордыни, воли и господской силы, не израсходованный им самим во время своих спокойных дней, достался его смерти, и она, смерть, теперь засела в Ульсгарде и проматывала все до последнего.

Как бы камергер Бригге посмотрел на того, кто потребовал бы от него, чтобы он умирал другой, не этой, смертью. Он умирал своей, тяжелой смертью.

И когда я думаю о других, кого видел или о ком слышал, — всегда то же самое. У всех была своя собственная смерть. У этих мужчин, носивших ее под доспехами, в себе, как узницу, у этих женщин, ставших очень старыми и маленькими, а потом переместившихся на огромную кровать, как на подиум, перед всей семьей, прислугой и собаками, скромно и величественно. И у детей, даже у самых маленьких, была не какая-то детская смерть, нет, они собирались с силами и умирали такими, какими они уже были, и такими, какими они со временем стали бы.

И какую же печальную красоту это придавало женщинам, когда они беременели и стояли, и в их огромных жи-

вотах, на которых непроизвольно лежали узкие руки, было два плода: ребенок и смерть. Разве плотная, почти питательная улыбка на их совсем нездешних лицах не оттого, что они чувствуют, как растут оба плода?

Кое-что я предпринял против страха. Я сидел всю ночь и писал и теперь по-хорошему устал, как после далекой ходьбы по полям Ульсгарда. И все же тяжело думать, что всего этого больше нет, что чужие люди живут в старом длинном господском доме. Может быть, в белой комнате наверху во флигеле теперь спят батрачки, спят своим тяжелым, влажным сном с вечера до утра.

И никого и ничего нет, и едешь по миру с чемоданом и ящиком книг и, в сущности, без любопытства. Ну, какая же это, в сущности, жизнь: без дома, без унаследованных вещей, без собак. Были бы, по крайней мере, собственные воспоминания. Но разве они есть? Было бы, по крайней мере, детство, а то и оно как закопанное. Наверное, надо быть старым, чтобы дойти до всего этого. Я думаю, мне это подходит: быть старым.

Сегодня прекрасное осеннее утро. Я шел по Тюильри¹. Все, что находилось перед востоком, напротив солнца, слепило. Освещенное завешивал туман, как светло-серый занавес. Серые на сером, грелись на солнце статуи в еще не обезлиствевшем саду. Отдельные цветы на длинных грядках просыпались и говорили: красный — испуганным голосом. Потом из-за угла, от Елисейских полей появился очень высокий и стройный мужчина; он шел с костылем,

¹ Сад между Лувром и площадью Согласия, разбитый на месте сгоревшего в дни Парижской коммуны (1871) дворца (1564–1670), одной из резиденций французских королей.

не подводя его под плечо, — держал костыль перед собой, легко, и время от времени ставил его прочно и со стуком, как жезл герольда. Он не мог сдерживать улыбку радости и, ни на кого не глядя, улыбался солнцу и деревьям. Его шаг был боязлив, как шаг ребенка, но необычно легкий и преисполнен воспоминаний о прежней ходьбе.

Да уж, маленькая луна может все. У нее свои дни, где вокруг все светло, легко, едва подано в светлом воздухе и все-таки отчетливо. У ближайшего уже оттенок дали, оно отнято и только показано, но не протянуто; а то, что имеет отношение к простору — река, мосты, длинные улицы и площади, которые безрассудно себя расточают, все, что этот простор разместил позади себя, нарисовано на нем, как на шелке. И не сказать, чем может потом оказаться светло-зеленая карета на мосту Pont-neuf¹, или нечто красноватое, чего не удержать, или даже афиша на брандмауэре жемчужно-серого строения со многими крышами и общей фронтальной стеной. Все упрощено, нанесено на несколько правильных светлых планов, как лицо на картине Моне. И ничто не ничтожно, и ничто не избыточно. Букинисты на набережной открывают свои ящики, и свежая или попользованная желтизна книг, фиолетовая смуглость томов, преобладающая зелень папок — все согласуется, годится, принимает участие и создает полноту, где ничего и ничто не отсутствует.

А внизу следующий подбор: небольшая ручная коляска, ее толкает женщина; спереди, на коляске, шарманка в длину. Сзади, поперек, детская корзинка, где совсем крохотуля стоит на прочных ножках, довольный, в своем

¹ Pont-neuf (*фр.* Новый мост) связывает западную оконечность острова Сите с левым и правым берегами Сены.

чепце, и не дает себя посадить. Время от времени женщина заводит свою заунывную песню. И крохотуля тотчас принимается снова топтать в своей корзинке, а маленькая девочка в зеленом воскресном платье тянет руки к окнам, танцует и бьет в тамбурин.

Я думаю, что мне нужно начинать что-то делать, теперь, когда я учусь видеть. Мне двадцать восемь, и даже хорошо, что ничего особенного не произошло. Переберем: я написал этюд о Карпаччо, и этюд плох, одну драму, которая называется «Супружество», где я нечто фальшивое хочу обосновать двусмысленными средствами, и стихи. Ах, но в стихах получится немного, если их пишешь с ранних лет. Со стихами нужно повременить, и смысл и сладость собираются в течение всей жизни, и по возможности — долгой, и совсем уж в конце, может быть, удастся написать десять строк действительно хороших. Потому что стихи — это не чувства, как думают люди (их, чувств, в молодости предостаточно): это опыты. Ради одной строчки нужно увидеть много городов, людей и вещей, нужно узнать животных, нужно чувствовать, как птицы летят, и знать жесты маленьких цветов, когда они открываются по утрам. Нужно уметь вспоминать о дорогах в незнакомых краях, о неожиданных встречах и расставаниях, давно и с грустью предвиденных, — о днях детства, еще до конца не проясненных, о родителях, сожалея, что их приходилось обижать, когда они дарили радость, а их не понимали (кого-нибудь другого она бы обрадовала), вспоминать о детских болезнях, начинающихся всегда так странно и с таким множеством глубоких и тяжелых превращений, о днях в тихих уютных комнатах и об утрах у моря, о море вообще, о морях, о ночных путешествиях, когда они высоко и с затихающим шелестом пролетали вместе со всеми звездами, — и этого еще недостаточно, если даже обо всем этом

можешь думать. Нужно иметь воспоминания о многих любовных ночах, когда ни одна из них не похожа на другую, о криках рожениц и о легких, белых спящих женщинах, только что разрешившихся от бремени. Но нужно еще побыть при умирающих, нужно посидеть около покойника в комнате с открытым окном и прерывистыми уличными шумами. Но этого еще недостаточно — иметь воспоминания. Нужно уметь их забыть, если их много. И нужно большое терпение, чтобы ждать, когда они вернуться снова. Поскольку эти воспоминания, собственно, еще не *суть*. Лишь когда они в нас становятся кровью, взглядом и жестом, безмянно и уже неотличимо от нас самих, — лишь тогда может случиться, что в какой-то очень редкий час первое слово стиха зародится в их середине и выйдет из них.

Все мои стихи возникли иначе — значит, их нет. И когда я писал свою драму, как же я там блуждал! Был ли я подражателем и глупцом, если нуждался в третьем, чтобы рассказывать о судьбе двоих, когда они друг другу в тягость? Как ловко я попался в ловушку! А ведь мне надо бы знать, что этот третий, тот самый, кто проходит сквозь все жизни и литературы, — это призрак третьего, коего никогда не было, и он никакого значения не имеет, его нужно просто не признавать. Он относится к отговоркам природы, потому что природа всегда старается отвлечь внимание людей от своих глубочайших тайн. Он — прикрытие в виде ширмы, за которой разыгрывается драма. Он — шум при входе в безголосую тишину действительного конфликта. Можно подумать, что всем до сих пор слишком тяжело говорить о двоих, о ком, собственно, и идет речь; третий, именно потому, что он такой нереальный, и есть та самая легкость задачи, когда ответ знают все. Сразу в начале всех драм замечаешь нетерпение поскорей подойти к третьему, они его уже ждут не дождутся. Как только он появляется, все хорошо. Но как скучно, если он запаздывает, без него решительно не может ничего произойти, все стоит, засто-

поривается, ждет. А ну как все при этом заторе и выжидании останется? Как, господин драматург и ты, публика, знающая жизнь, как быть, если он уже пропал без вести, этот излюбленный прожигатель жизни или этот мнящий о себе слишком много молодой человек, который во все супружества вставляется как отмычка? Как быть, если его, например, подрал черт? Давайте предположим. Сразу настаораживает противоестественная театральная пустота, ее замуровывают, как опасную дыру, только моль из окантовки лож шатко переступает по несостоятельному пространству, где не на что опереться. Драматурги не наслаждаются больше своими роскошными городскими особняками. Все частные сыщики ищут для них в удаленных частях мира того самого невосполнимого, кто, собственно, и был всем театральным действием.

И при этом они живут среди людей, не эти «третьи», но те самые двое, о ком так немислимо много можно было бы сказать. О ком еще никогда и ничего так и не сказали, хотя они страдают и действуют, и не знают, как себе помочь.

Это смешно. Я сижу здесь, в моей маленькой комнате, я, Бригге, двадцати восьми лет от роду и о ком никто не знает. Я сижу здесь, и я — ничто. И все же это ничто начинает думать и думает, на пятом этаже, на исходе серого парижского дня, вот что.

Разве возможно, думает, что еще ничего действительного и важного не увидено, не узнано и не сказано? Разве это возможно, располагая тысячами лет времени, чтобы смотреть, размышлять и запечатлевать, дать пройти этим тысячам лет мимо, как школьной перемене, успев только съесть свой бутерброд и яблоко?

Да, это возможно.

Разве возможно, несмотря на изобретения и прогресс, несмотря на культуру, религию и мировую мудрость, оставаться на поверхности жизни? Разве это возможно, что даже эту поверхность, что-то собой тем не менее все же